

Летописец Брайтон-бич (Воспоминания о Сергее Довлатове)

Так получилось, что мы не общались на нашей первой родине. Не перекрестились пути ни в общей компании, ни в редакции. Сергей Довлатов жил, как известно, в Питере, а я москвич. Но он служил в молодости редактором в журнале, а я в этом журнале печатался. Должны были видеться, но ни разу не встретились.

Однако, как впоследствии выяснилось, мы хорошо знали друг о друге даже такие личные подробности, которые и с близкими друзьями обсуждают не всегда.

Отгадка состояла в том, что в его доме и в моем доме (а дома были гостеприимные) бывал один и тот же московский стукач. Выяснили мы это уже в эмиграции, по взаимному согласию решив, несмотря на разгул гласности, имя не называть. Человек этот обратился не ко мне, а к Довлатову с просьбой прислать ему приглашение в Америку. Сделал он это не потому, что Довлатов здесь жил давно, а я недавно. Думаю, что потенциальный гость предпочел того, кто лучше умел прощать.

Тяжело писать подробные воспоминания о человеке, о коллеге, о писателе, с которым, кажется, совсем недавно долго и обо всем разом разговаривал по телефону, о чем-то договаривался, что-то с ним планировал вместе сделать, а теперь сознаешь, что голос его можно услышать только в записи на пленку, да и то, так сказать, официальную, студийную.

Впрочем, может, литературоведы без погон получали деньги не зря, и где-нибудь в подвале Чека голос Довлатова хранится и когда-нибудь отзовется. Знать бы, быть бы умнее, надо было засовывать при встрече ему в карман магнитофон и записывать его здесь, в Америке, в застолье. Ну, да что теперь...

А все ж какие-то вехи вспоминаются.

Вена, декабрь 1987. Международная конференция писателей, о которой в 1990 году в издательстве «Дюк Юниверсити Пресс» вышла объемистая книга на английском «Литература в изгнании» под редакцией профессора Джона Гледа.

Я только что выехал — после десяти лет конфликтного существования, еще не соображая толком, как жить, еще не отстранившись от старого, с которым покончено. Друзья, знакомые, коллеги реагировали по-разному.

Александр Зиновьев, узнав, что у меня есть приглашения в три американских университета, твердо заявил: «Ехать надо туда, где есть работа». Георгий Владимов горьковато говорил, что для него проблемы языка нет — немецкого он не знает и живет с одним русским. Владимир Войнович делился собственным опытом, который был поучителен. С Раисой и Львом Копелевыми вспоминали пережитое в Москве. Один коллега просто прилетел и вручил немного денег, чтобы поддержать. Вот тут-то мы увиделись впервые со старым знакомым Довлатовым и несколько дней провели вместе.

Я новичок, он уже западный старожил. Он не советовал, не вспоминал. Денег у него не было. Он шутил, и от этого становилось легче. Перечитываю сейчас в книге его и свое выступления. В моем — неостывшая обида и скепсис. В довлатовском говорится о том, что произойдет с русской литературой в последующее время: агония литературы советской, признание (хотя и с увертками) литературы, созданной эмигрантами. Сейчас об этом горы написаны, а тогда было еще не до этого, но он одним из первых об этом заговорил. Предвидение Довлатова, как видим, сбывается.

Лето 1988, студия радио «Свобода», Нью-Йорк.

Работаю на «Свободе» все лето, в частности, начитываю главу за главой свою только что вышедшую в Лондоне книгу «Вознесение Павлика Морозова». Делаю и передачи. Тексты пишу заранее, переделываю по многу раз. Смотрю, как свободно и раскованно Довлатов работает с микрофоном без шпаргалки. Если устал, выпивает рюмку коньяку. Я нервничаю, сомневаюсь, он спокоен, уверен в себе. И — бесконечные разговоры о жизни там и тут, начиненные байками, которые никогда у него было не понять, слышал он или придумал. Как будто это про него сказано, что экспромт есть то, что тщательно отрепетировано заранее. Радио мешало, заставляло делать однодневки, но именно радио сделало его имя известным в России. Репортер рекламировал писателя. А у него было что рекламировать, то была проза.

Сан-Франциско, апрель 1989. Заранее объявленная в газетах встреча Довлатова с читателями. Проданы билеты, зал полон. Большую часть его представляла пенсионная элита русской эмиграции. Довлатов же рекламирует не себя, а какого-то московского графика, который привез в Калифорнию выставку своих перестроечных, но все равно агитпроповских плакатов.

— Сережа, на кой ляд вы тратите на это силы?

— А он хороший парень, надо его поддержать...

Я председательствую и, стало быть, представляю его читателям. Он, как и положено выступающему, гладко выбрит и чуть-чуть пьян. Договорились еще по телефону вести встречу как диалог, как спор, чтобы слушателям было интереснее. Естественно, я стараюсь дать больше поговорить Довлатову, но чувствую, что он то и дело умолкает, вежливо предоставляя эту возможность мне. В перерыве спрашиваю его, в чем дело.

— Вы так хорошо обо мне говорите. Слушать гораздо приятнее!

В фойе торговля его книгами, которые продает его знакомая. К нему очередь, чтобы получить дарственную надпись. Он делает это ужасно медленно. Подхожу ближе — оказывается он стоит с авторучкой на веревочке, висящей на шее, и аккуратно исправляет в тексте каждой книги типографские ошибки, которых много, и при этом перед каждым, купившим книгу, оправдывается.

У нас была телефонная дружба. Говорили подолгу: я — удобно устроившись в кресле, а он по-набоковски лежа в постели. Изредка получал от него письма и часто конверты с вырезками — не о себе, а обо мне: на радио Сергей внимательно читал советскую и эмигрантскую прессу. Он, что не у всех случается, радовался появлению книг своих коллег, как своих собственных книг.

Услышав о смерти Довлатова, я пошел в университетскую библиотеку и сел возле полок на пол, как делают студенты. Тут, в тишине, можно было отрешиться от суеты и погрузиться. Перед моими глазами Довлатов стоял на одной полке с Достоевским. Я ничего этим не хочу сказать, кроме того, что сказал: на одну букву, на одной полке. Я снял книги Довлатова с полки, пошел к столу и стал расставлять. Поставил его портрет. Получилась маленькая выставка. Подошли мои аспиранты полюбопытствовать, что я делаю. Я объяснил. Мы сели вокруг. Прочитал им один небольшой его рассказ. Большую часть они не поняли, пришлось перевести. Потом мы провели несколько минут в молчании.

И вот дни идут дальше. Мы еще есть, а Довлатова нет. В этом есть какая-то неувязка логики человеческого существования, что старшие живы, а того, кто моложе, нет. Я не могу объяснить, почему это кажется мне таким несправедливым, может, оттого, что сие происходит и зависит не от нас.

О Довлатове пишут и еще напишут критические статьи. Будет литературный анализ, и формальный, и человеческий. Довольно-таки консервативная западная славистика (критикую и себя: я сам принадлежу к этой касте) застряла на узком круге имен. Не хочу вдаваться в причины, они разные, противоречивые, а чаще примитивные. Может, действует закон консервативной части германистики, в которой не принято изучать серьезно писателя раньше, чем через пятьдесят лет после смерти? Но постепенно найдется больше места для диссертаций и докладов на научных конференциях о творчестве самобытного русского писателя Сергея Довлатова. Разумеется, издания, которые традиционно дожидаются смерти, чтобы без опаски

давать оценки, уже раскручивают сочинения — правду и небылицы о нем, раньше не предсказуемом, а теперь бессильном опровергнуть ложь.

Что ж, если появится хотя бы один довлатовед, это будет справедливо. Короткая, но весьма запутанная жизнь плюс довольно длинный библиографический лист Довлатова — достойные предметы для внимания. И не такой уж ясный это писатель, чтобы все в нем сходу понять и объяснить.

За что я люблю прозаика Довлатова? Перечитывая теперь его страницы, думаю о том, что в его книгах нет или мало традиционных книжных событий: войн, революций, политики, роковой любви или трагедии измены. Нет и крупных героев, хороших или мерзких.

Я боюсь писателей, лишенных чувства юмора. Мне кажется, писатель, неспособный вызвать к жизни улыбку читателя, не владеет словом, и ему надо искать другое ремесло. Довлатов писал грустно, но так, чтобы читатель улыбался. Он умел смешить, чтобы нам становилось грустно. Такой усложненный дар не часто встретишь в прозе и в эссе, а Довлатов этим мастерством владел.

Он умел писать как бы ни о чем, высматривал важное в повседневном, рассказывал о людях, которых мы без него просто не заметили бы. Но при этом именно он оказался одним из заметных летописцев третьей волны эмиграции семидесятых годов, той самой волны, которая выплеснула к подножию статуи Свободы его самого и оставила наедине с большой Америкой.

Сиюминутное он останавливал, пытаюсь превратить в вечное. Не знаю, удалось ли это ему. В его прозе, в смешении стилей, в отсутствии литературной системы отразились не только противоречия его натуры, но и безумное советское время, душевный хаос изгойства там и последующей эмиграции, сложные возможности свободы для несвободных людей, каковыми мы родились и попали в другой мир.

Перечитываю его эссе, которые он писал для «Нового американца» и для «Нового русского слова». Смотрю скрипты — то, что он делал для радио «Свобода». Они — дань времени, но не однодневки. Не главные вопросы, но всегда больные, нетронутые. Он первый на них обращал внимание, неважное делал важным, неинтересное — значительным. И еще искренность. Он был очень аккуратен, стыдлив, что ли, на громкие и фальшивые слова. Старался не употреблять их сам и очень точно замечал у коллег по обе стороны океана.

Сергей Довлатов виделся окружающим таким огромным, здоровым и сильным, а был больным, изношенным. Не в этом ли парадоксе скрыта природа его доброты, сострадания к другим, способности ужиться с недостатками, которые столь часто выставляются напоказ от растерянности или избытка свободы?

Он ушел в возрасте, когда кажется, что можно прожить еще столько же. Мы знаем, что он добровольно изнашивал сам себя, несмотря на запреты врачей. Чего он только не делал из того, что вредно, плохо, опасно! Но у врача и писателя разные, подчас противоположные задачи. Врач хочет уберечь писателя от стресса, а писатель стремится к вредному для здоровья состоянию.

Может, писатель делает это, чтобы точнее знать, каково человеку во вредной среде? Вот откуда шли излишества Довлатова, перебор, несчастья, без которых — и это оборотная сторона писательской жизни — нет и полной правды в литературе. Таким сжигающим себя «испытателем природы» был другой русский эмигрант, и тоже из Питера, — Александр Куприн. Как Зощенко любил говорить, «литература производство вредное, наподобие изготовления свинцовых белил».

Довлатов ушел в зазеркалье и оттуда, мне кажется, с усмешкой наблюдает за происходящим по сию сторону непробиваемого стекла. Если там, в зазеркалье, слышат то, что мы здесь говорим, я хотел бы ему сказать, что тень его в нашем мире живет веселей, чем жилось ему. И напечатанные, и еще не напечатанные довлатовские мысли остаются с нами. Они не только развлекают. Они помогают что-то понимать, любить и жалеть живых.

1990, Davis